ЧТЕНИЕ — ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ

Н. С. Лесков

ЛЕВША



Machaon

Левша. Тупейный художник

Николай Семёнович Лесков

Аннотация
Николай Лесков. Левша. Тупейный художник. Рассказы
«Снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру»
Левша. Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвёртая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Тупейный художник. Рассказ на могиле. (Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 г.)
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая

Аннотация

Николай Семёнович Лесков – русский писатель, публицист, литературный критик. На протяжении многих десятилетий Лесков в своих художественных произведениях и статьях, полных одновременно горечи и сарказма, не таясь рассказывал о жизни простого русского народа и смело обличал невежество чиновников.

В книгу вошли два выдающихся его произведения – «Левша» и «Тупейный художник», – рекомендованные школьной программой к прочтению.

Николай Лесков
Левша. Тупейный художник
Рассказы

© Н.А. Леонова, иллюстрации, 2025
© Оформление, вступительная статья. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 «Махаон»®

⁂







«Снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру»

Николай Семёнович Лесков (1831–1895) родился в семье чиновника в селе Горохове Орловского уезда. Отец Лескова вспоминал, что, когда увидел новорождённого в первый раз, заметил необычайную серьёзность малыша, внимательно рассматривавшего лицо бабки-повитухи. «Этот мальчишка — какое-то замечательное явление в природе», — удивлялся отец и при этом высказывал опасение, что из Николеньки со временем выйдет непременно какой-нибудь «совершенно неспособный к жизни фантазёр».

Дед Николая был священником, мать — из дворян, бабушка — купчиха, а воспитывала его нянюшка — крепостная крестьянка. С детства Лесков усвоил нравы и обычаи разных сословий. Может быть, в том числе именно поэтому в будущем писателе, по воспоминаниям современников, сошлись все крайности человеческой натуры — упрямство и великодушие, доброта и резкость, крутость и простосердечие.

Детство Николеньки прошло на хуторе Панино, который купили его родители после ухода главы семьи со службы в Орле. Лесковы ютились в небольшом крестьянском домике с соломенной крышей. Здесь для ребёнка было настоящее раздолье. Ловил пескарей в прозрачной воде речки Гостомли, пас лошадей вместе с крестьянскими ребятишками, сидел у костра и слушал истории о таинственных обитателях окрестных полей. Лесков отмечал: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а вырос в народе на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ними на росистой траве… под тёплым овчинным тулупом».

В 1841 году Николая определили в гимназию, которую ему так и не удалось окончить. Проучившись там пять лет, Лесков поступил на работу канцелярским служащим в Орловскую уголовную палату суда. Дела о разорении крестьян, ссылках беглых в арестантские роты, разбиравшиеся в суде, и наказания, поражавшие своей жестокостью и неоправданностью, надолго останутся в памяти юноши, а некоторые даже лягут в основу его рассказов и статей. «Не всё дорога идёт скатертью, бывают и перебоинки», — напишет однажды Лесков в рассказе «Леди Макбет

Мценского уезда» (1864).

В 1848 году внезапно скончался отец Лескова, а всё семейное имущество сгорело при пожаре. После этих трагических событий юноша переехал в Киев, где поселился у своего дяди — профессора Киевского университета, который «изъял его из мертвенно-дремотного Орла в университетский Киев, поставил его в условия, благоприятствующие расширению умственного кругозора, пробуждению жажды к знанию».

Здесь Лесков продолжил служить, однако это занятие его очень тяготило: «Жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, не имеет оправдания». Вскоре Лесков поступил на работу в хозяйственно-коммерческую компанию. Благодаря делам этой компании, которые, по воспоминаниям писателя, требовали «беспрестанных разъездов» и удерживали подолгу «в самых глухих захолустьях», ему удалось объездить всю Россию и собрать «большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений» о жизни крестьян разных губерний.

Служба невольно подтолкнула Лескова к писательскому делу, о котором он никогда раньше не помышлял. С 1860 года Николай Семёнович начал печататься в петербургских и киевских

газетах, где публиковал статьи о злоупотреблениях в чиновничьей среде. Его обличительные заметки были переполнены болью за судьбу простого человека. «Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья», — любил повторять Лесков.

Главным героем рассказа «Левша» (1881) становится искусный мастеровой, соединяющий в себе и достоинства, и пороки простого русского человека. Левша, чьё бескорыстие и неподкупность неразрывно связаны с осознанием своей незначительности и безропотностью, привык к постоянным побоям и наказаниям плетью. Однако при этом он не прельщается сытой и спокойной жизнью, которую сулят ему англичане, пытаясь заполучить себе талантливого мастера, а стремится на родину: «Мы в науках не зашлись, но только своему отечеству преданные… мы все к родине своей привержены». В рассказе «Тупейный художник» (1883) жестокий барин разлучает влюблённых — актрису крепостного театра и парикмахера Аркадия, отдав его в солдаты. Молодой человек не боится ни страшных пыток, ни смерти, когда речь заходит о возлюбленной. После службы в армии Аркадий возвращается

домой, где в пути его неожиданно настигает злой рок… На страницах этих рассказов Лесков размышляет о том, возможно ли вообще счастье простого человека в России того времени…

Не имея совершенно никакого «снисхождения к злу», на протяжении многих десятилетий Лесков в своих художественных произведениях и статьях, полных одновременно горечи и сарказма, не таясь рассказывал о жизни простого русского народа и смело обличал невежество чиновников.

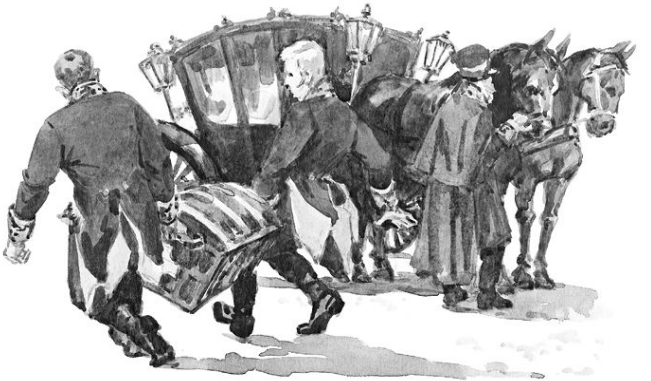
Наталия Дровалёва,
кандидат филологических наук

Левша

Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе







Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нём был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, всё государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома своё не хуже есть, — и чем-нибудь отведёт.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал

за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы[1], оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать своё над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор ещё я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый[2] нос в лохматую бурку спустил, а пришёл в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кисляр-

---

[1] Notes: 1

Цейга́уз (цейхгауз) — военный склад для хранения оружия, снаряжения, обмундирования.

[2] Notes: 2

Грабова́тый — горбатый.

ки[3], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень[4] Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всём доме англичанам никому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее.

[3] Notes: 3
Кизля́рки. (*Прим. автора.*)

[4] Notes: 4
Скла́день — складная икона из двух, трёх или нескольких частей.

Глава вторая

На другой день поехал государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлён и на что смотрит; а тот идёт глаза опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьёт.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на всё это радуется, всё кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него всё ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое

бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и двенадесять язык[5] прогнали.



[5] Notes: 5

[1]Двенадесять язык — двенадцать языков; имеется в виду многонациональная армия Наполеона в войне с Россией в 1812 году.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружьё, а из другой пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружьё.

Государь на Мортимерово ружьё посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — её наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так… как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сде-

лал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвёртку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов ещё больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился

и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навёл.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я ещё желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво[6]?

А англичане и не знают, что это такое — молво. Перешёптываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны со-

---

[6] Notes: 6

[1] Сахар молво́ — сахар, изготовленный на заводе Молво (Моллво) — династии крупнейших купцов-сахарозаводчиков XIX века.

знаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дёрнул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение её между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, всё благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных[7] жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают

---

[7] Notes: 7

Тужу́рный (*фр*. toujour — всегда) — постоянный.

пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и её на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнёт дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять её на ладошечку — у неё в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдёт дансе…

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль[8] станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами — хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

---

[8] Notes: 8
Каври́ль — кадриль.



Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на неё не принесли; без футляра же ни её, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на неё у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казённый, а у них насчёт казённого строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и всё ещё недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:



— Оставь, пожалуйста, это не твоё дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это ещё пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять са-

мый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всём свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[9]. Доро́гой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве,

---

[9] Notes: 9

«Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (*Прим. автора.*)

а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нём совсем другой смысл.



Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, солёным бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку[10], в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царём в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лёг дома на досадную укушетку, да так всё и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

---

[10] Notes: 10
Корешковая трубка — трубка, сделанная из корня дерева.

Глава четвёртая

Удивительная блоха из аглицкой воронёной стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав её попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Моё, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из неё табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нём нашёл стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это ещё за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки[11] химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом её слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, — но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был ещё жив и даже всё ещё на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю

---

[11] Notes: 11

То есть из аптеки, находившейся на противоположной стороне улицы.

во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, — говорит, — пришёл доложить насчёт этой нимфозории, которую отыскали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероящии делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть её русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, — тогда ещё Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих рус-

ских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка всё равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми её с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчёт их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал её тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против неё, — говорят, — надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать — остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.



Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо своё смелое воображение исполнить да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы ещё и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдёт, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было

что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да ещё потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто вёрст»[12], а святых угодни-

---

[12] Notes: 12
«Два девяносто вёрст» — 180 вёрст.

ков и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орёл до Киева снова ещё добрых пять сот вёрст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнёшь — долго ещё будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава седьмая

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже Святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдёт в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На Святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то тёмные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдалённого Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездно-

му городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир Ликийских изображён на ней «в рост», весь одеян сребропозлащённой одеждой, а лицом тёмен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и наконец возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.



День, два, три сидят и никуда не выходят, всё молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали

их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за своё дело принялися.

Только сквозь малые щёлочки было видно, как внутри дома огонёк блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, всё дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во всё это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава восьмая

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнёт, и ещё злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.



Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и ещё мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлёт, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет,

а зубами так и скрипит — всё ему ещё нескоро показывается.

Так в тогдашнее время всё требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дёрнули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да ещё этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого Бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьём, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьём съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому, вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несём.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застёгивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зелёном чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё, — отвечают, — готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжён, и ямщик и форейтор[13] на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зелёный чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме её, ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

---

[13] Notes: 13

Форе́йтор — кучер, сидящий верхом на передней лошади и управляющий передней парой.

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чём же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду, — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают. — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.



Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от её брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да ещё, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врёте же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так

что у того все крючочки от казакина[14] отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля[15], — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[16] увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — всё враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

---

[14] Notes: 14

[1]Казаки́н — старинная мужская верхняя одежда в виде укороченного кафтана, застёгивался на крючки.

[15] Notes: 15

Пу́бель — пудель.

[16] Notes: 16

Тугаме́нт — документ.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошёл к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

Глава одиннадцатая

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошёл во дворец со шкатулочкою да потихонечку её в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат[17] без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чём не забывал, и чуть Платов насчёт междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спраши-

---

[17] Notes: 17
Казама́т — каземат (здесь: одиночная камера).

вает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, всё в том же пространстве, и я её назад привёз, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как всё дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с неё суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нём блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей: — У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория всё-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо ещё, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил

левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учёбе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, ещё задам.



И велел свистовым, чтобы левше ещё крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

Глава тринадцатая

Как довёл Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. — И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил её под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком — словом сказать, на все стороны её повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чём был взят и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду и отвечу.

Идёт в чём был: в опорочках[18], одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик[19] старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошёл левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! А он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

---

[18] Notes: 18

Опо́рочек (опорок) — старая, изношенная и рваная обувь.

[19] Notes: 19

Озя́мчик (озям или азям) — старинная верхняя одежда крестьян в виде долгополого кафтана.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.



Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну её ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда всё и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это ещё не всё удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твоё имя тут есть? — спросил государь.



— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вёз блоху особый курьер, который на все языки учён, а при нём чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной

кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде[20] велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нём какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

---

[20] Notes: 20

Граф Кисельвроде — сатирическое переиначивание фамилии министра иностранных дел Российской империи графа К. В. Нессельроде (1780–1862).

Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок ещё у́же перетягивали, чтобы кишки с лёгкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли — се тре жули[21]».

Курьер как привёз его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свёл в пищеприёмную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадывают-

---

[21] Notes: 21
Се тре жули́ (*фр*. C'est très joli) — это очень мило.

ся и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зелёная — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал что всего натуральнее и ждёт курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту её рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприёмную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад[22], — говорят, — камрад — хороший мастер, — разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь

---

[22] Notes: 22

Камра́д (*англ.* comrade) — товарищ, приятель.

выпьем за твоё благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, — может быть, отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок, и в Польше нет хозяина больше, — сами вперёд кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:



— Он — левша и всё левой рукой делает.

Англичане ещё больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону[23] воды с ерфиксом[24] приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по «Полусоннику», а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А Левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчёт гаданья царь Давид неясно открыл, то в «Полусоннике» угадывают дополнение.

Они говорят:

---

[23] Notes: 23

Симфо́н — сифон (бутыль с краном для газированной воды).

[24] Notes: 24

Ерфи́кс (*фр.* air fixe) — устаревшее название углекислого газа, употреблялось часто как отрезвляющее средство.

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь «Полусонник». Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчёт силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и её подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход

в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я ещё в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые[25] главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного вос-

---

[25] Notes: 25
Гроботочи́вые — мироточивые, источающие благовонную жидкость.

кресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву[26] сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам нейдёт, и, если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

---

[26] Notes: 26

Грандеву́ — рандеву (*фр*. rendez-vous) — любовное свидание.



— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчёт девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения

не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже ещё другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки[27]. Совсем точно обезьяна сапажу — плисовая тальма[28].

Англичане засмеялись и говорят:

---

[27] Notes: 27

Ноґа́вка — приспособление для защиты конечностей лошади от травм.

[28] Notes: 28

Пли́совая та́льма — старинная женская длинная накидка без рукавов из недорогой, под бархат, ткани (плиса).

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?

— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и всё своё искусство покажут.

— А потом, — говорят, — мы его на своём корабле привезём и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.

Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, — и пошли они левшу водить и всё ему показывать. Он смотрел всё их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчёт рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом[29], а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: всё, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле

---

[29] Notes: 29
С бо́йлом — с побоями.

выходит. А придёт праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на всё их житьё и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Всё обойдёт и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдёт, — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнёт:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал бес-

покойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всём угощении, и я всем у вас очень доволен и всё, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.



— Мы на буреметр, — говорят, — смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное[30] море.

— Это всё равно, — отвечает, — где умереть, — всё единственно, воля Божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром[31], а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шёл. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдёт на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнёт, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в род-

---

[30] Notes: 30

Твердизе́мное — Средиземное.

[31] Notes: 31

С трепети́ром — с репетиром. Репетир — механизм в старинных карманных часах, отбивающий время при нажатии кнопки.

ную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша всё вниз в каюты нейдёт — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в тёплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так всё время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Ещё!

Левша и ещё выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию

секрет везёшь?

Левша отвечает:

— Это моё дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей[32].

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьёт, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать всё-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идёт!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

---

[32] Notes: 32
Паре́й — пари.

Глава семнадцатая

Началось у них пари ещё в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды чёрт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит чёрта рыжего, а левша говорит, будто он тёмен, как мурин[33].

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это чёрт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понёс к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз

---

[33] Notes: 33
Му́рин — чернокожий.

запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и своё пари выдержать, — а горячего студингу с огнём им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Глава восемнадцатая

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в тёплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.



А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой, и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пёстрое платье

с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повёл городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша всё время на холодном парате[34] лежал; потом поймал городовой извозчика, только без тёплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришёл. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвёртую — до самого утра его по всем отдалённым кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

---

[34] Notes: 34
На холодном пара́те — на холодном крыльце.



Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на лёгкий завтрак курицу с рысью[35] съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

[35] Notes: 35
С рысью — то есть с рисом.

Глава девятнадцатая

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашёл, только его ещё на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

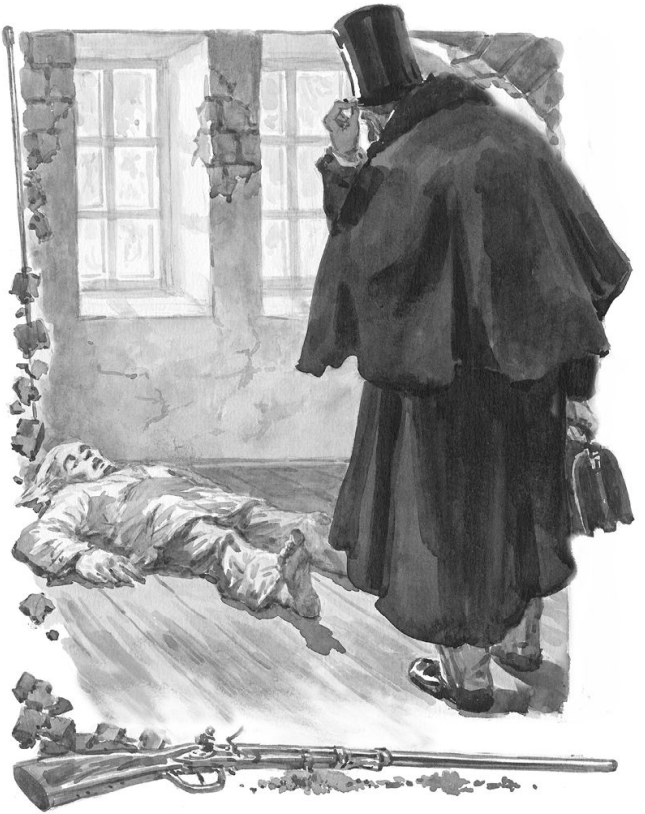
— Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.



— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию[36] получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошёл и к Скобелеву и всё рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы её лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и по-

---

[36] Notes: 36
Пуплекци́я — апоплексический удар, паралич.

мер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышёву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышёв на него закричал:

— Знай, — говорит, — своё рвотное да слабительное, а не в своё дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка всё продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышёву о левше и напомнил, а граф Чернышёв и говорит:

— Пошёл к чёрту, плезирная трубка[37], не в своё дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрётся», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в своё время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

---

[37] Notes: 37

Плези́рная трубка (фр. *plaisir* — удовольствие) — здесь в значении «клистирная трубка».

Глава двадцатая

Теперь всё это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер её главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворённый народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвётся в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.



Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

Тупейный художник
Рассказ на могиле

(Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 г.)







Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь

Глава первая

У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебряники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе[38]».

В Америке область художественная понимается ещё шире: знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мёртвыми». Он придавал лицам почивших различные «утешительные выражения», свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, —

---

[38] Notes: 38
Шнип — нижний заострённый край лифа женского платья.

я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с Богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с Богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни…

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

Глава вторая

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и всё, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была ещё не очень стара, но бела как лунь; черты лица её были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тётка, глядя на неё, не раз говорили, что она, несомненно, была в своё время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и… иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку

с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от неё и услыхал историю тупейного художника[39].

[39] Notes: 39

Тупе́йный художник (от фр. *toupet* — чуб волос) — тупейщик, парикмахер. Тупей — старинная причёска — взбитый хохол волос на голове.

Глава третья

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причёсывал». Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребёнкой за ухом и с жестянкой растёртых на сале румян, а был это человек с идеями — словом, художник.

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребёнком, в сороковых годах, я помню ещё огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалёванными сажей и охрой,

и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда… Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну а что я тебе сейчас расскажу, так это ещё страшней.

Вот один из таких её рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок её сердцу.

Глава четвёртая

Аркадий «причёсывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда «на мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

— Призовут его, бывало, — говорила Любовь Онисимовна, — и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдёт, велит актёру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что росту он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, — так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец

и «всем нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий ещё кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог и один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил[40].

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через своё всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности

---

[40] Notes: 40

Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?» — Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. (*Прим. автора.*)

и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, — он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далёкими намёками при всех, во время гримировки.

Свидания с глазу на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы…



— Нас, актрис, — говорила Любовь Онисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилиц; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только

«сам» — тот, кто его уставил.

Глава пятая

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури[41]», танцевала «первые па в “Китайской огородница”» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли наглядкою».

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орёл проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг ещё во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало

---

[41] Notes: 41

Подпури́ — попурри — музыкальное произведение, составленное из мелодий нескольких произведений.

играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила её именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в её каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

— Тут, — говорила Любовь Онисимовна, — я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал — загляденье.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссёра удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые[42] серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведённою на крат-

---

[42] Notes: 42

Камари́новые — аквамариновые, то есть из драгоценного камня аквамарин.

кий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же отдавалось приказание Аркадию убрать обречённую девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всём в белом, в венке и с лилией в руках, символизованную innocence[43] доставляли на графскую половину.

— Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и, как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

[43] Notes: 43
Невинность (*фр.*).

Глава шестая

А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был ещё собой хуже и давно в деревне жил и форму не надевал и не брился, потому что «всё лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.



А требовалось много.

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, — говорила няня. — Тогда во всём форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то всё лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в причёске, — как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, — от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия.

Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

Глава седьмая

Деревенский же брат графа был ещё некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было всё в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орёл, позвал к себе городских цирульников и говорит:

— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведёшь — то сейчас убью.

А всё это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса,

ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, — думают, — и с твоим золотом».

— Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужны бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привёл. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:

— Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь — разве я могу моё же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него такое суждение даже странно.

— После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнёт и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется — я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою[44] вместе это не сделаешь.

— Хорошо, — говорит граф, — пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

— И это, — говорит, — последнее твоё слово, брат?

— Да, последнее.

— И в этом только всё дело?

— Да, в этом.

— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал,

---

[44] Notes: 44
Водвою́ — одновременно, сразу.

что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уже моё дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

— Хорошо, — говорит, — пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

Глава восьмая

А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

— Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.

Аркадий спрашивает:

— Только ли будет всего приказания?

— Ничего больше, — говорит граф, — но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трёх положениях должна быть убрана, а после театра представь мне её святой Цецилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

— Что это с тобой?

А Аркадий отвечает:

— Виноват, на ковре оступился.

Граф намекнул:

— Смотри, к добру ли это?

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему всё равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошёл.

Глава девятая

Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

— Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине и получай десять золотых, а если обрежешь — убью.

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг — Господь его знает, что с ним сделалось, — стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал всё в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

— Прощайте.

Тот отвечает:

— Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?

А Аркадий говорит:



— Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплёка[45].

— Или, может быть, ты от пули заговорён, что и пистолетов не боишься?

---

[45] Notes: 45

Подоплёка — подкладка у мужской крестьянской рубахи от плеч до половины груди и спины. «Знает про то грудь да подоплёка» — так говорили о заветной тайне.

— Пистолеты — это пустяки, — отвечает Аркадий, — об них я и не думал.

— Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово твёрже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.

Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

— Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от Бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою всё горло перерезал.

И с тем бросился вон и пришёл в театр как раз в своё время и стал меня убирать, а сам весь трясётся. И как завьёт мне один локон и пригнётся, чтобы губами отдувать, так всё одно шепчет:

— Не бойся, увезу.

Глава десятая

Спектакль хорошо шёл, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а своё исполнение делали так, что ничего и не заметно.

Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся:

— Господи! помилуй и спаси! На кого его зверство обрушится!

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было ещё неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

«Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет».

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому

что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

— Тро боку[46], тро боку! — и щёточкой лишнее с меня счистил.

[46] Notes: 46
Тро боку́ (от *фр*. trop beaucoup) — слишком много.

Глава одиннадцатая

А как всё представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, — терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идёт Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали[47] и заворачивали: всё это было. Казённое наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях как медведи сидели. Бывало, если случится когда

[47] Notes: 47

Крячко́м скрячивали — скручивать, стягивать при помощи толстой верёвки.

идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут, говорит, змеи и высосут очи,

И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.



Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг всё окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню…

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дёрнула ноги и чувствую, что я завёрнута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг — тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, — один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет… Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, — понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» — и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

— Любушка, голубушка! за нами гонятся… согласна ли умереть, если не уйдём?

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик ещё тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади — всё из глаз пропало.

Аркадий говорит:

— Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вёз, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живёт, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.

Глава двенадцатая

Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живёт. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.

Тот говорит:

— Нет, отчего же не могу? я могу. Что там ещё в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, — я вас здесь окручу.



И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

— Ох, светы мои, всё бы это ничего — не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну да уж пускай, что Бог даст,

то и будет, — прибавьте ещё лобанчик[48] хоть обрезанный и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец полный, а он тогда своей попадье говорит:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик[49] какой-нибудь, а то на неё смотреть стыдно — она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

---

[48] Notes: 48

Лоба́нчик — золотая монета, как правило с изображением профиля головы.

[49] Notes: 49

Шушу́н — старинная русская крестьянская женская одежда в виде кофты.

Глава тринадцатая

У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

— А ты, свет, вот сюда.

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошёл приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры[50] верёвочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырём.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный решётчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело

---

[50] Notes: 50

Сво́ра — поводок, на котором водят охотничьих собак.

плохо, — весь трясётся перед дворецким, и крестится, и кричит скоренько:



— Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чём не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», — думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

— Нам всё известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукой:

— Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл!

А с этим всё себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

— Вылезай, — говорит, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

— Да, — говорит, — видно, нечего делать, ваша взяла, — везите меня на терзание, но она

ни в чём не повинна: я её силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

— Светы мои, видите, ещё какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

— Ничего, не беспокойся, всё это ему причтётся, — и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней: на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, всё расступается, — думают, может быть, свадьба.

Глава четырнадцатая

Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в своё прежнее место и всё с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась?

Я всем говорю:

— Ах, даже нисколечко!

Тут что́ мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым — той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать своё несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх всё слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем…

Как почуяла я, что это его терзают… и бросилась… в дверь ударилась, чтоб к нему бежать… а дверь заперта… Сама не знаю, что сделать хоте-

ла… и упала, а на полу ещё слышней… И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чём бы можно как-нибудь кончиться… Я взяла да своей же косой замоталась… Обвила горло да всё крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло… А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе… И телятки тут были… много теляточек, штук больше десяти, — такие ласковые, придёт и холодными губами руку лижет, думает — мать сосёт… Я оттого и проснулась, что щекотно стало… Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди[51] и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла[52], и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своём же графском доме в телячьей избе… «Это вон там было», — поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдалённому углу полуразрушенных серых заграждений.

---

[51] Notes: 51

Пе́стрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.

[52] Notes: 52

То есть пришла в сознание.

Глава пятнадцатая

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали её Дросида.

— Она, как убралася перед вечером, — продолжала няня, — сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девушка, всё открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, — на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись…»

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырёк и показывает.

Я спрашиваю:

«Что это?»

А она отвечает:

«Это и есть ужасный плакон, а в нём яд для забвения».

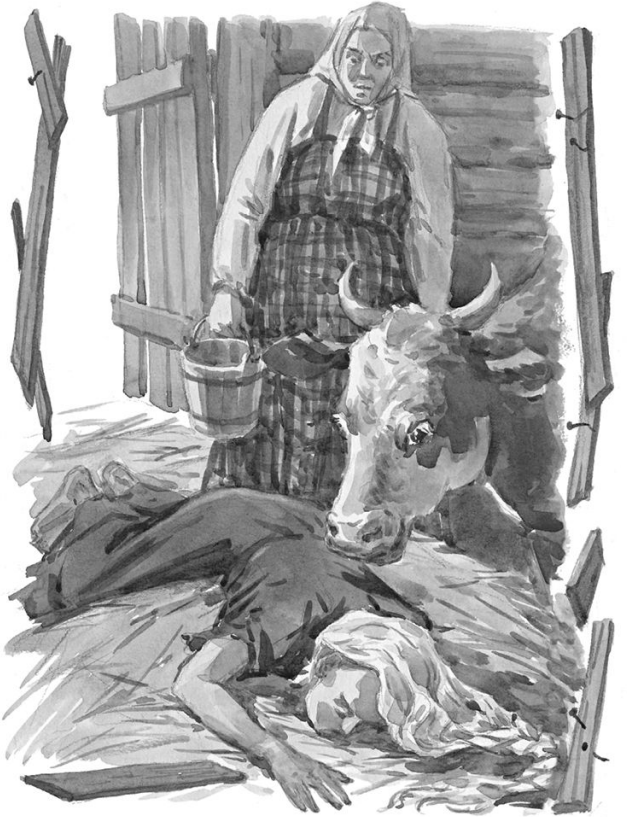
Я говорю:

«Дай мне забвенного яду: я всё забыть хочу».

Она говорит:

«Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила… Добрые люди мне дали… Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу, — очень больно мне. А тебе ещё есть в свете утешение: его Господь уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» — да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы, — белые… Что это!



А она мне говорит:

«Не пужайся, не пужайся, твоя голова ещё там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасён: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было, — я тебе, как ночь придёт, всё расскажу, а теперь ещё пососу… Отсосаться надо… жжёт сердце».

И всё сосала, всё сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тётушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

«Спит горе или не спит?»

Я отвечаю:

«Горе не спит».

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал:

«Ты должен был всё пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачёта в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою, — я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо по-

шлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».

«Ему, — говорила пестрядинная старушка, — теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть — что пасть в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года всё каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во всё это время мне была Божия милость, что к театру меня не возвращали, а всё я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тётушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила её слушать. А она ещё помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер — потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я всё ещё ничего не пила и за тётушку Дросиду много делала, и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что, когда которого

отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нём после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая лёгкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки[53] разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завёрнут.

[53] Notes: 53
Та́льки — мотки пряжи.

Глава шестнадцатая

Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно, — думаю, — это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать и глазам своим не верю…

Глава семнадцатая

Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я, и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на леченье даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить и в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя».

— А дальше, — продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством, — писал так, что «какое — говорит, — вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».



Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке[54] и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь Богу молилась, нимало о себе слов не произнося,

[54] Notes: 54
Загне́тка — место в левой части печи, куда сгребаются горячие угли.

а всё за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что ещё его бить будут.

Глава восемнадцатая

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до её слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

— Что такое они говорили, того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:

«Это, — говорит, — они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нём».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой…

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича

зарезал… и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим… Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит… А то ты думал, отчего же я всё сюда гулять-то с вами хожу… Мне не туда глядеть хочется, — указала она на мрачные и седые развалины, — а вот здесь возле него посидеть и… и капельку за его душу помяну…

Глава девятнадцатая

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузырёк и «помянула», или «пососала», но я её спросил:

— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, — его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли, и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал — жив остался и в каторжную работу клеймёный пошёл. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Чётного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечёт. Нарочно тогда палач, говорят, тульский

был привезён, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот всё жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается… Покрыли рогожечкой да в острог и повезли, — дорóгой умер. А тульский, сказывают, всё ещё покрикивал: «Давай ещё кого бить — всех орловских убью».

— Ну а вы же, — говорю, — на похоронах были или нет?

— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

— И прощались с ним?

— Да, как же! Все подходили, прощались, и я… Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, — говорили, весь кровью истёк, потому что он его в самую полночь ещё зарезал… Сколько это он своей крови пролил…

Она умолкла и задумалась.

— А вы, — говорю, — сами после это каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

— Поначалу не помню, — говорит, — как домой

пришла… Со всеми вместе ведь — так, верно, кто-нибудь меня вёл… А ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя, — ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь, чтобы из сердца исток был».

Я говорю:

«Не могу, тёточка, — сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».

А она говорит:

«Ну, значит, теперь плакона не миновать».

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь — пососи».

Я говорю:

«Не хочется».

«Дурочка, — говорит, — да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой ещё горче, а облить уголь этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь то-же… выпила… и теперь без этого уснуть не могу и сама себе плакончик завела и винца покупаю… А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда

не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдём, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу… Сами туда не взойдём, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о её «плакончике».

— Спасибо, голубчик, — не говори: мне это нужно.

И как сейчас я её вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встаёт, крадётся на своих длинных, простуженных ногах к окошечку… Стоит минутку, озирается, слушает: не идёт ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососёт… Глоток, два, три… Уголёк залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку — юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!



Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

